

СЫН ПОЛКА

*Посвящается
Жене и Павлику Катаевым*

Это многих славных путь.

Некрасов

1

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из чёрных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман.

Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако её свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми, длинными тесинами, в которых, волшеббно изменяясь, плыли космы болотных испарений.

Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо чёрный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем; то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берёз; то на прогалине, на фоне белого лунного неба, распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окружённые радужным сиянием.

И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света.

В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины: серого волка, несущего Ивана-царевича в маленькой шапочке набекрень и с пером Жар-птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках — да мало ли ещё что!

Но меньше всего в этот глухой, мёртвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений.

Работа была трудная, очень опасная. Почти всё время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте — в холодной вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными жёлтыми листьями.

Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек.

Но самое тяжёлое было то, что ни разу не удалось покурить. А как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым, крепким табачком. И, как на грех, все три солдата были заядлые курильщики. Так что, хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше и в сумке у старшего лежала карта, на которой с большой точностью было отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздражёнными, злыми.

Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как

известно, хорошо помогает крепкое словечко или весёлая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься словечком — даже высморкаться или кашлянуть: каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко.

Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в тринадцати друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света, и через каждые пять шагов останавливаться и прислушиваться.

Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки: поднимет руку над головой — все тотчас останавливались и замирали; вытянет руку в сторону с наклоном к земле — все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились; махнёт рукой вперёд — все двигались вперёд; покажет назад — все медленно пятились назад.

Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух километров, разведчики продолжали идти всё так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли ещё осторожнее, останавливались чаще.

Они вступили в самую опасную часть своего пути.

Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь ещё были глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днём, после боя, немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду. Конечно, разведчики — хотя их было только трое — не боялись засады. Они были

осторожны, опытни и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по четыре ручных гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засечёнными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя. Всё вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далёких пушечных выстрелов да коротенькой пулемётной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что в мире нет никакой войны.

Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась война.

Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко — неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошёл танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться, особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими.

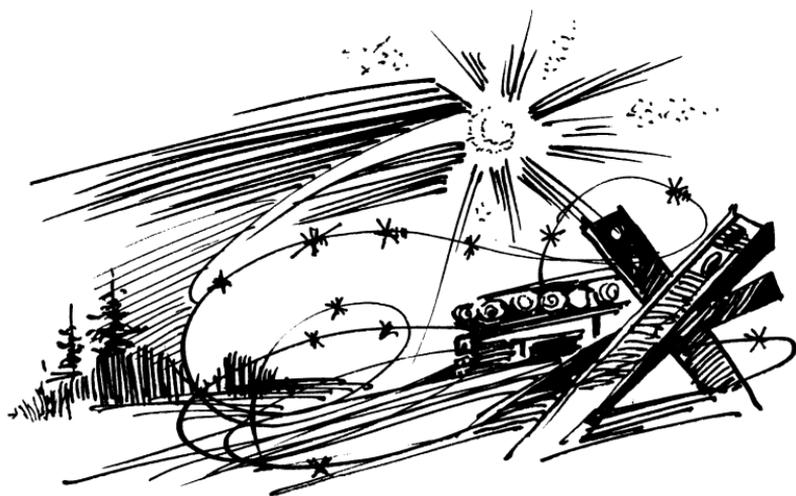
В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, стояли, как поленницы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью.

Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны. Иногда разведчики наткнулись на глубокий извилистый ход сообщения или на основательный командирский блиндаж, накатов в шесть, с дверью, обращённой на запад. И эта дверь, обращённая на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он или в нём кто-нибудь есть, было неизвестно.

Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску.

В одном месте на полянке, озарённой дымным лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с жёлтыми лицами и синими провалами глаз.

Один раз взлетела осветительная ракета; она долго висела над верхушками деревьев, и её плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева



протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вокруг стал на ходули. И пока ракета не погасла, три солдата неподвижно стояли среди кустов, сами похожие на полуоблетевшие кусты в своих пятнистых, жёлто-зелёных плащ-палатках, из-под которых торчали автоматы. Так разведчики медленно подвигались к своему расположению.

Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек лет двадцати двух. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались.



Звук, который привлёк внимание сержанта Егорова — такова была фамилия старшего, — казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение.

«Что бы это могло быть?» — думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке.

«Шёпот! Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизгивание напильника? Нет».

Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли.

Послушав ещё минуту-другую, Егоров, не обращившись, подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали слушать.

— Слышать? — одними губами спросил Егоров.

— Слышать, — так же беззвучно ответил один из солдат.

Егоров повернул к товарищам худощавое тёмное лицо, уныло освещённое луной. Он высоко поднял мальчишеские брови.

— Что?

— Не понять.

Некоторое время они втроём стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были так же непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем

троим показалось, что они слышат выходящее из земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки сделались прежними.

Тогда Егоров подал знак ложиться и лёг сам животом на листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях, по-пластунски.

Через минуту он скрылся за тёмным кустом можжевельника, а ещё через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовёт их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника.

Из окопчика явственно слышалось бормотание, всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком.

Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна.

В окопчике спал мальчик.

Стиснув на груди руки, поджав босые, тёмные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зелёной вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными, грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обмётанными лихорадкой, воспалёнными губами вылетали сильные вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов,



всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запёкшейся крови.

Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слёзы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из напряжённого горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку.

Сон мальчика был так тяжёл, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего: ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо.

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот.

— Тише. Свои, — шёпотом сказал Егоров.

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские и лица, наклонившиеся к нему, — тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощённом лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово:

— Наши...

И потерял сознание.

2

Командир батареи капитан Енакиев сидел на небольшой дощатой площадке, устроенной на верхушке сосны, между крепкими суками. С трёх сторон площадка была открыта. С четвертой стороны, с западной, на неё было положено несколько толстых шпал, защищавших от пуль. К верхней шпале была привинчена стереотруба. К её рогам было привязано несколько веток, так что сама она походила на рогатую ветку.

Для того чтобы попасть на площадку, надо было подняться по двум очень длинным и узким лестницам. Первая, довольно пологая, доходила примерно до половины дерева. Отсюда надо было подниматься по второй лестнице, почти отвесной.

Кроме капитана Енакиева, на площадке находились два телефониста — один пехотный, другой артиллерийский — со своими кожаными телефонными аппаратами, повешенными на чешуйчатом стволе сосны, и начальник боевого участка, командир стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан.

Так как на площадке больше четырёх человек не помещалось, то остальные два артиллериста стояли на лестнице: один — командир взвода управления лейтенант Седых, а другой — уже знакомый нам сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на верхних ступеньках, положив локти на доски площадки, а сержант Егоров стоял ниже, и его шлем касался сапог лейтенанта.

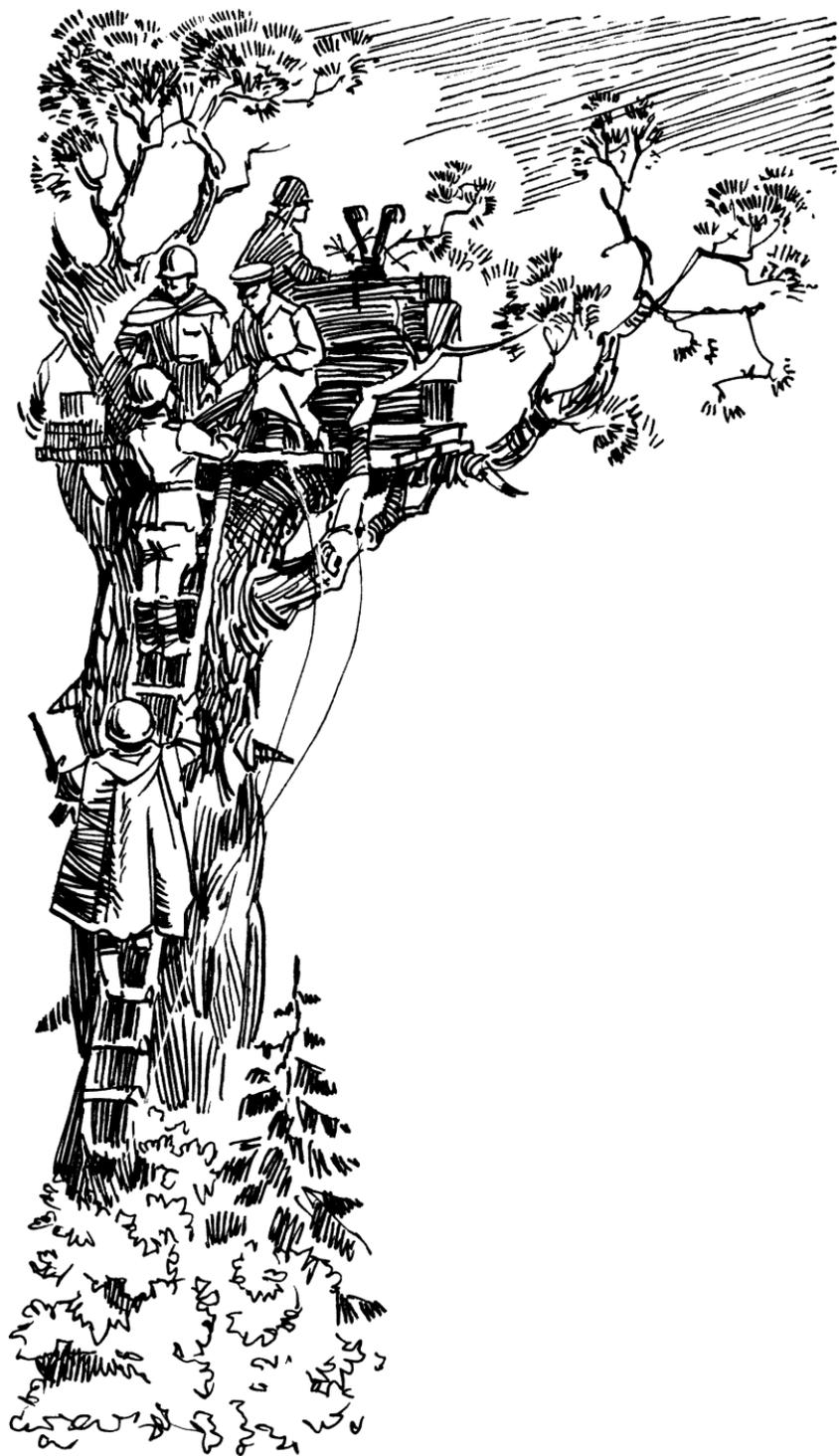
Командир батареи капитан Енакиев и командир батальона капитан Ахунбаев были заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом: они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Карты эти, меченые-перемеченные разноцветными карандашами, лежали рядом, разостланные на досках. Оба капитана полулежали на них с карандашами, резинками и линейками в руках.

Капитан Ахунбаев, сдвинув на затылок зелёный шлем и наклонив хмурый, почти коричневый широкий лоб, резкими, нетерпеливыми движениями толстых пальцев передвигал по своей карте прозрачную линейку. Он пускал в ход то красный карандаш, то резинку и в то же время быстро искоса взглядывал в лицо Енакиеву, как бы говоря: «Ну, что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше. Давай поскорее».

Он, как всегда, горячился и плохо скрывал раздражение.

В эти последние часы, а может быть, даже минуты перед боем всё казалось ему слишком медленным. Он внутренне кипел.

Капитан Енакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые товарищи. Случилось так, что



последние два года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии и привыкли: где дерётся батальон Ахунбаева, там, значит, дерётся и батарея Енакиева.

Славный путь проделали плечом к плечу Енакиев и Ахунбаев. Били они немцев под Духовщиной, били под Смоленском, вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной земли. Не раз и не два и даже не три раза столица наша Москва от имени Родины озаряла вечерние тучи над Кремлём огненными залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон Ахунбаева и батарея Енакиева.

Много хлеба и соли съели вместе за одним походным столом боевые друзья. Немало воды выпили они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащпалаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли. А характеры у них были разные.

Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчётлив, как подобает хорошему артиллеристу.

Сейчас, перенося на свою карту данные, добытые разведчиками Енакиева, капитан Ахунбаев торопился покончить с этим делом и поскорее отпустить связных, присланных от каждой роты за схемами разведанной местности: они стояли внизу под деревом и ждали.

Приказ о наступлении ещё не был получен. Но по многим признакам можно было заключить, что оно начнётся очень скоро, и до его начала Ахунбаев хотел обязательно побывать в ротах и лично проверить их боевую готовность.

Однако как быстро ни скользила целлулоидная линейка Ахунбаева по карте, как проворно ни наносил красный карандаш кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов и голубеньких жилок рек, дело подвигалось далеко не так быстро, как хотелось бы капитану. Почти перед каждым новым значком, который Ахунбаев собирался наносить на карту, капитан Енакиев останавливал его учтивым, но твёрдым движением небольшой сухощавой руки в потёртой коричневой замшевой перчатке:

— Прощу вас. Одну минуту повремените, я хочу проверить. Лейтенант Седых!

— Здесь.

— Посмотрите у себя. Квадрат девятнадцать пять. Сорок пять метров северо-северо-восточнее отдельного дерева. Что у вас там замечено?

Не торопясь, но и не копаясь, лейтенант Седых пододвигал к себе планшетку, лежавшую на досках на уровне его груди, опускал немного припухшие, покрасневшие от недосыпания глаза и, покашляв, говорил:

— Подбитый танк, вкопанный в землю и превращённый неприятелем в неподвижную огневую точку.

— Откуда это известно?

— По донесению разведки.

— Правильно, верно, — быстро говорил капитан Ахунбаев, от нетерпения развязывал

и завязывал на шее тесёмки плащ-палатки. — Моя разведка то же самое доносит. Значит, не может быть двух мнений. Смело можно наносить.

— Всё же одну минуточку повремените, — говорил капитан Енакиев, подумав.

Он наклонялся и заглядывал на край площадки вниз.

— Сержант Егоров!

— Здесь, товарищ капитан, — откликнулся сержант Егоров с лестницы.

— Что это у вас там за подбитый танк на квадрате девятнадцать пять? Вы не сочиняете?

— Никак нет.

— Лично видели?

— Так точно.

— Собственными глазами?

— Так точно, собственными глазами. Туда шли — видел и на обратном пути видел. На том же месте стоит.

— Так они что? Выходит, превратили его в неподвижную огневую точку?

— Так точно. В неподвижную огневую точку.

— Откуда это известно?

— Они вокруг него производят земляные работы.

— Закапывают?

— Так точно.

— А может быть, они хотят его вывезти?

— Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полоторке привезли.

— Сами видели?

— Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Тогда же мы и засекли.

— Хорошо. Больше ничего.

— Точно! Точно! — радостно восклицал сквозь зубы капитан Ахунбаев и выставлял на карте маленький красный ромбик.

А то вдруг, уточняя положение какой-нибудь цели, капитан Енакиев, сделав свой учтивый, но твёрдый останавливающий жест, опускался на колени перед стереотрубой и — как казалось капитану Ахунбаеву, очень долго — рыскал по туманному, слоистому горизонту, то и дело справляясь с картой и прикладывая к ней целлулоидный круг. В это время Ахунбаев готов был от нетерпения скрипеть зубами и не скрипел только потому, что слишком хорошо знал своего друга. Скрипи или не скрипи, всё равно не поможет.

Достаточно было одного взгляда на капитана Енакиева, на его старенькую, но исключительно опрятную, ладно пригнанную шинель с чёрными петлицами и золотыми пуговицами, на его твёрдую фуражку с лаковым ремешком, чёрным околышком и прямым квадратным козырьком, несколько надвинутым на глаза, на его фляжку, аккуратно обшитую солдатским сукном, на электрический фонарик, прицепленный ко второй пуговице шинели, на его крепкие, но тонкие и во всякую погоду начищенные до глянца сапоги, чтобы понять всю добросовестность, всю точность и всю непреклонность этого человека.

Утро было серое, холодное. Иней, выпавший на рассвете, хрупко лежал на земле и долго не таял. Он медленно испарялся в сыром синем воздухе, мутном, как мыльная вода. Деревья на опушке не шевелились. Но это впечатление было обманчиво. Верхушка сосны раскачивалась по кругу, а вместе с ней раскачивалась и площадка, словно это был

плот, который плавно носит вокруг широкого медленного водоворота.

Воздух всё время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Это постоянное и неравномерное состояние воздуха можно было не только чувствовать. Его можно было как бы видеть. При каждом ударе в лесу встряхивались деревья, и жёлтые листья начинали сыпаться гуще, крутятся и колыхаясь.

3

Человеку непривычному могло показаться, что идёт большое сражение и что он находится в самом центре этого сражения. На самом же деле была обычная артиллерийская перестрелка, не слишком даже сильная. Какая-нибудь батарея, наша или немецкая, желая пристрелять новую цель, выпускала несколько снарядов. Эту батарею сейчас же засекали наблюдатели противника, и тотчас по ней из глубины ударял какой-нибудь специальный контрбатарейный взвод. За этим взводом, в свою очередь, начиналась охота. Таким образом, очень скоро на участке заваривалась такая каша, что хоть уши затыкай ватой. Со всех сторон били орудия мелких калибров, ещё более мелких калибров, средних, калибров покрупнее, наконец, крупных, очень крупных, самых крупных, а иногда и сверхмощные пушки, еле слышно ухавшие глубоко в тылу и вдруг с неожиданным воем, скрежетом, вихрем низвергавшие свои колоссальные снаряды в какой-нибудь на вид невинный лесок, над которым поднималась в воздух вместе с кустами и деревьями и обваливалась вниз

скалистая туча, чёрная, как антрацит, и продёрнутая в середине молниями.

Иногда откуда-то, с неожиданной стороны, врывался осколок, с силой ударялся в землю, делал рикошет, кружился, трещал, звенел, ныл, как волчок, и с отвратительным стоном уносился прочь, сбивая по пути с деревьев ветки и шишки.

Однако люди, работавшие над картой на верхушке сосны, казалось, ничего этого не слышат и не видят. И только изредка, когда в каком-нибудь месте огонь особенно учащался, телефонист крутил ручку своего кожаного аппарата и негромко говорил:

— Дай «Фиалку». Это «Фиалка»? Говорит «Стул». Проверка линии. Что у вас там делается?.. Пока всё тихо? Ну ладно. У нас тоже всё тихо. Войдите дальше. До свидания.



Когда наконец работа была окончена, капитан Ахунбаев сразу повеселел. Он быстро засунул карту в полевую сумку, решительно завязал на короткой шее тесёмки плащ-палатки, вскочил на свои короткие, крепкие, немного кривые ноги и крикнул вниз вестовому:

— Коня!

Затем он посмотрел на часы:

— Проверьте. У меня девять шестнадцать. У вас?

— Девять четырнадцать, — сказал капитан Енакиев, скользнув взглядом по своей руке.

Капитан Ахунбаев издал короткий торжествующий гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули глянцевой чернотой.

— Отстаёшь, капитан Енакиев.

— Никак нет. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь... по своему обыкновению.

— Зайцев, точное время! — азартно крикнул Ахунбаев.

Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полка и доложил, что время девять часов четырнадцать минут.

— Твоя взяла, бог войны, — миролюбиво сказал Ахунбаев и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевёл стрелки. — Пусть будет на сей раз по-твоему. Прощай, комбат.

Грубо шурша плащом, он единым духом, не сделав ни одной остановки, спустился мимо посторонившихся артиллеристов по обеим лестницам вниз, бросил карту адъютанту, вскочил на коня и умчался, осыпаясь жёлтыми листьями.

После этого капитан Енакиев снял со своей записной книжки тугой резиновый поясok и пере-

брался к стереотрубе. В книжке были записаны цели. Все эти цели были пристреляны. Но капитану Енакиеву хотелось, чтобы они были пристреляны ещё лучше.

Ему хотелось добиться, чтобы в случае надобности его батарея могла сразу, с первых же выстрелов, перейти на поражение, не тратя драгоценного времени на повторную пристрелку. «Пройтись по целям» не представляло, конечно, никакого труда. Но он боялся, что его батарея, выдвинутая далеко вперёд, на линию пехоты, и хорошо спрятанная, может обнаружить себя раньше времени. Вся же задача заключалась именно в том, чтобы ударить совершенно неожиданно, в самый последний, решающий момент боя, и ударить туда, где этого меньше всего ожидают. Такое место, по мнению капитана Енакиева, было на правом фланге боевого участка, между развилками двух дорог и выходом в довольно глубокую балку, поросшую молодым дубняком.

В данный момент это место не представляло ничего интересного. Оно было пустынно. На нём не было ни огневых точек, ни оборонительных сооружений. Обычно на полях сражений таких неинтересных, ничем не замечательных мест бывает довольно много. Сражение проходит мимо них, не задерживаясь. Капитан Енакиев это знал, но у него было сильное, точное воображение.

В сотый раз рисуя себе предстоящий бой во всех возможных подробностях его развития, капитан Енакиев неизменно видел одну и ту же картину: батальон Ахунбаева прорывает немецкую оборонительную линию и погибает правый фланг против возможной контратаки. Потом он нетерпеливо

выбрасывает свой центр вперёд, закрепляется на оборонительном склоне высоты, против развилки дороги, и, постепенно подтягивая резервы, накапливается для нового решительного удара по дороге. Именно недалеко от этого места, между развилкой дороги и выходом в балку, капитан Ахунбаев и останавливается. Он должен там остановиться, так как этого потребует логика боя: необходимо будет пополнить патроны, подобрать раненых, привести в порядок роты, а главное — перестроить боевой порядок в направлении следующего удара. А на это необходимо хотя и небольшое, но всё же время. Не может быть, чтобы этой паузой не воспользовались немцы. Конечно, они воспользуются. Они выбросят танки. Это самое лучшее время для танковой атаки. Они неожиданно выбросят свой танковый резерв, спрятанный в балке. А в том, что в балке будут спрятаны немецкие танки, капитан Енакиев почти не сомневался, хотя никаких положительных сведений на этот счёт не имел. Так говорило ему воображение, основанное на опыте, на тонком понимании манёвра и на том особом, математическом складе ума, который всегда отличает хорошего артиллерийского офицера, привыкшего с быстротой и точностью сопоставлять факты и делать безошибочные выводы.

«А может быть, всё же рискнуть, попробовать?» — спрашивал себя капитан Енакиев, подкручивая по глазам окуляры стереотрубы.

Расплывчатый серый горизонт светлел, уплотнялся. Мутные очертания предметов принимали предельно чёткую форму. Панорама местности волшебным образом приблизилась к глазам и явственно рас-

слоилась на несколько планов, выступавших один из-за другого, как театральные декорации.

На первом плане, вне фокуса, мутно и странно волнисто выделялись верхушки того самого леса, где стояла сосна с наблюдательным пунктом. Даже один сук этой сосны, чудовищно приближённый, прямо-таки лез в глаза громадными кистями игл и двумя громадными шишками.

За ним выступала полоса поля. По нижнему краю этого поля со стереоскопической ясностью тянулась волнистая линия нашего переднего края. Все его сооружения были тщательно замаскированы, и только очень опытный глаз мог открыть их присутствие. Капитан Енакиев не столько видел, сколько угадывал места амбразур, ходов сообщения, пулемётных гнёзд.

По верхнему же краю поля так же отчётливо и так же подробно, но гораздо мельче, параллельно нашим окопам тянулись немецкие. И мёртвое пространство между ними было так сжато, так сокращено оптическим приближением, что казалось, будто его и вовсе не было.

Ещё дальше капитан Енакиев видел водянистую панораму немецких тылов. Он прошёлся по ней вскользь. Быстро замелькали оголённые рощицы, сплюснутые болотца, возвышенности, как бы наклеенные одна на другую, развалины домиков.

И наконец капитан Енакиев вернулся к тому самому месту между развилкой дорог и узкой щелью оврага, которое было занесено в его записную книжку под именем: «Дальномер 17».

Он напряжённо всматривался в это ничем не примечательное, пустынное место, и его воображение — в который раз за сегодняшнее утро! —

населяло это место движущимися цепями Ахунбаева и маленькими силуэтами немецких танков, которые вдруг начинали один за другим выползать из таинственной щели оврага.

«Или лучше не стоит?» — думал Енакиев, стараясь как можно точнее подвести фокус стереотрубы на это место. Это не была нерешительность. Это не было колебание. Нет. Он никогда не колебался. Не колебался он и теперь. Он взвешивал. Он хотел найти наиболее верное решение. Он хотел отдать себе полный отчёт в том, что же для него всё-таки выгоднее: с наибольшей точностью пристрелять «цель номер семнадцать», хотя бы для этого пришлось пойти на риск преждевременно обнаружить свою батарею, или до самой последней минуты не обнаруживать батарею, рискуя в критический, даже, быть может, решающий момент боя потерять несколько минут на корректировку.

Но в это время внизу раздались голоса, лестница зашаталась, послышалось дробное позванивание шпор и на площадку выскочил, тяжело дыша, молодой офицер, почти мальчик, со смуглым курносым лицом и очень чёрными толстыми бровями. Это был офицер связи. На его лице, которое изо всех сил старалось быть официальным и даже суровым, горела жаркая мальчишеская улыбка.

Он стукнул шпорами, коротко бросил руку к козырьку, точно оторвал её с силой вниз, и подал капитану Енакиеву пакет.

— Приказ по полку... — сказал он строго, но не удержался и, ярко сверкнув карими глазами, взволнованно добавил: — ...О наступлении!

— Когда? — спросил Енакиев.

— В девять часов сорок пять минут. Сигнал — две ракеты синих и одна жёлтая. Там написано. Разрешите идти?

Енакиев посмотрел на часы. Было девять часов тридцать одна минута.

— Идите, — сказал он.

Офицер связи стукнул шпорами, вытянулся, бросил руку к козырьку, с силой оторвал её вниз, повернулся кругом с такой чёткостью и щегольством, словно был не на верхушке дерева, а в столовой артиллерийского училища, и одним духом ссыпался вниз по лестницам, обрывая шпоры о перекладины и весело чертыхаясь.

— Лейтенант Седых! — сказал Енакиев.

— Я здесь, товарищ капитан.

— Вы слышали?

— Так точно.

— Командный пункт здесь. Связь между мной и всеми взводами телефонная. При движении вперёд наращивать проволоку без малейшей задержки. От взводов не отрываться ни на одну секунду. В случае нарушения телефонной связи дублируйте по радио открытым текстом. При командире каждой роты назначьте двух человек: один связной, другой — наблюдатель. Обо всех изменениях обстановки доносить немедленно по проводу, по радио или ракетами. Задача ясна?

— Так точно.

— Вопросы есть?

— Никак нет.

— Действуйте.

— Слушаюсь.

Лейтенант Седых сошёл на одну ступеньку ниже, но остановился:

— Товарищ капитан, разрешите доложить. Со всем из головы выскочило. Как прикажете поступить с мальчиком?

— С каким мальчиком?

Капитан Енакиев нахмурился, но тотчас вспомнил:

— Ах да!

Ему докладывали о мальчике, но он ещё не принял решения.

— Так что же у вас там с мальчиком? Где он находится?

— Пока у меня, при взводе управления. У разведчиков.

— Очухался малый?

— Будто ничего.

— Что же он рассказывает?

— Много чего говорит. Да вот сержант Егоров лучше знает.

— Давайте сюда Егорова.

— Сержант Егоров! — крикнул лейтенант Седых вниз. — К командиру батареи!

— Здесь! — тотчас откликнулся Егоров, и его шлем, покрытый ветками, появился над площадкой.

— Что там с вашим мальчиком? Как его самочувствие? Рассказывайте.

Капитан Енакиев сказал не «доклаживайте», а «рассказывайте». И в этом сержант Егоров, всегда очень тонко чувствующий все оттенки субординации, уловил позволение говорить по-семейному. Его утомлённые, покрасневшие после нескольких бессонных ночей глаза открыто и ясно улыбнулись, хотя рот и брови продолжали оставаться серьёзными.

— Дело известное, товарищ капитан, — сказал Егоров. — Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову. Мать убили. Бабка и маленькая сестрёнка померли с голоду. Остался один. Потом деревню спалили. Пошёл с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым жандармам. Отправили силком в какой-то ихний страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился паршой, поймал чесотку, болел сыпным тифом — чуть не помер, но всё же кое-как сдюжил. Потом убежал. Почитай, два года бродил, прятался в лесах, всё хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Совсем одичал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок. Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие выдумал. Непременно хотел этим гвоздём какого-нибудь фрица убить. А ещё в сумке у него мы нашли букварь. Рванный, потрёпанный. «Для чего тебе букварь?» — спрашиваем. Чтобы грамоте не разучиться, говорит. Ну что вы скажете!

— Сколько ж ему лет?

— Говорит, двенадцать, тринадцатый. Хотя на вид больше десяти никак не дать. Изголодался, отоцал. Одна кожа да кости.

— Да... — задумчиво сказал капитан Енакиев. — Двенадцать лет. Стало быть, когда всё это началось, ему ещё девяти не было.

— С детства хлебнул, — сказал Егоров вздыхая.

Они помолчали, прислушиваясь к звукам артиллерийской перестрелки, которая стала заметно стихать, как это всегда бывает перед началом боя.

Скоро наступила напряжённая, обманчивая тишина.

— И что же, хороший паренёк? — спросил капитан Енакиев.

— Замечательный мальчишка! Шустрый такой, смышлёный! — воскликнул Егоров уже совсем по-домашнему.

Капитан нахмурился и отвернулся.

Был когда-то и у капитана Енакиева мальчик, сын Костя, правда, немного поменьше возрастом — теперь бы ему было семь лет. Были у капитана Енакиева молодая жена и мать. И всего этого он лишился в один день три года назад. Вышел из своей квартиры в Барановичах, по тревоге вызванный на батарею, и с тех пор больше не видел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери. И никогда не увидит.

Они все трое погибли по дороге в Минск, в то страшное июньское утро сорок первого года, когда немецкие штурмовики налетели на беззащитных людей — стариков, женщин, детей, уходящих пешком по минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну.

Об их гибели рассказал капитану Енакиеву очевидец, его старый товарищ, случившийся в это время со своей частью возле шоссе. Он не передавал подробностей, которые были слишком ужасны. Да капитан Енакиев и не расспрашивал. У него не хватало духу расспрашивать. Но его воображение тотчас нарисовало картину их гибели. И эта картина уже никогда не покидала его, она всегда стояла перед глазами. Огонь, блеск, взрывы, рвущие воздух в клочья, пулемётные очереди в воздухе, обезумевшая толпа с корзинами, чемоданами, колясками,

узлами и маленький, четырёхлетний мальчик в синей матросской шапочке, валяющийся, как окровавленная тряпка, раскинув восковые руки между корнями вывороченной из земли сосны. Особенно отчётливо виделась капитану Енакиеву эта синяя матросская шапочка с новыми лентами, сшитая бабушкой из старой материнской жакетки.

В это лето, несмотря на свои тридцать два года, капитан Енакиев немного поседел в висках, стал суше, скучней, строже. Мало кто в полку знал о его горе. Он никому не говорил о нём. Но, оставаясь наедине с собой, капитан всегда думал о жене, о матери, о сыне. О сыне он думал всегда, как о живом.

Мальчик рос в его воображении. Каждую минуту капитан знал точно, сколько бы ему сейчас было лет и месяцев, как бы он выглядел, что бы говорил, как бы учился. Сейчас его сын, конечно, уже умел бы читать и писать и его матросская шапочка ему бы уже не годилась. Эта шапочка теперь лежала бы у матери в комодке среди других вещей, из которых его Костя уже вырос, и, возможно, из неё бабушка сделала бы теперь какую-нибудь другую полезную вещь — мешочек для перьев или суконку для чистки ботинок.

— Как его звать? — сказал капитан Енакиев.

— Ваня.

— Просто — Ваня?

— Просто Ваня, — с весёлой готовностью ответил сержант Егоров, и его лицо расплылось в широкую, добрую улыбку. — И фамилия такая подходящая: Ваня Солнцев.

— Ну так вот что, — подумав, сказал Енакиев, — надо будет его отправить в тыл.

Лицо Егорова вытянулось.

— Жалко, товарищ капитан.

— То есть как это — жалко? — строго нахмурился Енакиев. — Почему жалко?

— Куда же он денется в тылу-то? У него там никого нету родных. Круглый сирота. Пропадёт.

— Не пропадёт. Есть специальные детские дома для сирот.

— Так-то оно, конечно, так, — сказал Егоров, всё ещё продолжая держаться семейного тона, хотя в голосе капитана Енакиева уже слышались твёрдые, командирские нотки.

— Что?

— Так-то оно так, — повторил Егоров, переминаясь на шатких ступенях лестницы. — А всё-таки, как бы это сказать, мы уже думали его у себя оставить, при взводе управления. Уж больно смыслённый паренёк. Прирождённый разведчик.

— Ну, это вы фантазируете, — сказал Енакиев раздражённо.

— Никак нет, товарищ капитан. Очень самостоятельный мальчик. На местности ориентируется всё равно как взрослый разведчик. Даже ещё лучше. Он сам просится. Выучите меня, говорит, дяденька, на разведчика. Я вам буду, говорит, цели разведывать. Я здесь, говорит, каждый кустик знаю.

Капитан усмехнулся:

— Сам просится... Мало что он просится. Не положено. Да и как мы можем взять на себя ответственность? Ведь это маленький человек, живая душа. А ну как с ним что-нибудь случится? Бывает на войне, что и подстрелить могут. Ведь так, Егоров?

— Так точно.

— Вот видите. Нет, нет. Рано ему ещё воевать, пусть прежде подрастёт. Ему сейчас учиться надо. С первой же машиной отправьте его в тыл.

Егоров помялся.

— Убежит, товарищ капитан, — сказал он неуверенно.

— То есть как это — убежит? Почему вы так думаете?

— Если, говорит, вы меня в тыл начнёте отправлять, я от вас всё равно убегу по дороге.

— Так и заявил?

— Так и заявил.

— Ну, это мы ещё посмотрим, — сухо сказал капитан Енакиев. — Приказываю отправить его в тыл. Нечего ему здесь болтаться.

Семейный разговор кончился. Сержант Егоров вытянулся:

— Слушаюсь.

— Всё, — сказал капитан Енакиев коротко, как отрубил.

— Разрешите идти?

— Идите.

И в то время, когда сержант Егоров спускался по лестнице, из-за мутной стены дальнего леса медленно вылетела бледно-синяя звёздочка. Она ещё не успела погаснуть, как по её следу выкатилась другая синяя звёздочка, а за нею третья звёздочка — жёлтая.

— Батарея, к бою, — сказал капитан Енакиев негромко.

— Батарея, к бою! — крикнул звонко телефонист в трубку.

И это звонкое восклицание сразу наполнило зловеще притихший лес сотней ближних и дальних отголосков.

Ав это время Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошонку из картошки, лука, свиной тушёнки, перца, чеснока и лаврового листа.

Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожёванные куски мяса то и дело останавливались у него в горле. Острые твёрдые уши двигались от напряжений под косичками серых, давно не стриженных волос.

Воспитанный в степенной крестьянской семье, Ваня Солнцев прекрасно знал, что он ест крайне неприлично. Приличие требовало, чтобы он ел не спеша, изредка вытирая ложку хлебом, и не слишком сопел и чавкал.

Приличие требовало также, чтобы он время от времени отодвигал от себя котелок и говорил: «Много благодарен за хлеб, за соль. Сыт, хватит», — и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не попросят: «Милости просим, кушайте ещё».

Всё это Ваня понимал, но ничего не мог с собой поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий.

Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой, в то же время не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного хлеба, для которых уже не хватало рук.

Изредка его синие, как бы немного полинявшие от истощения глаза с робким извинением поглядывали на кормивших его солдат.



Их было в палатке двое: те самые разведчики, которые вместе с сержантом Егоровым подобрали его в лесу. Один — костистый великан с добродушным щербатым ртом и непомерно длинными, как грабли, руками, по прозвищу «шкелет», ефрейтор Биденко, а другой — тоже ефрейтор и тоже великан, но великан совсем в другом роде — вернее сказать, не великан, а богатырь: гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк Горбунов с калёным румянцем на толстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой поросычьею щетиной на розовой голове, по прозвищу Чалдон.

Оба великана не без труда помещались в палатке, рассчитанной на шесть человек. Во всяком случае, им приходилось сильно поджимать ноги, чтобы они не вылезали наружу.

До войны Биденко был донбасским шахтёром. Каменноугольная пыль так крепко въелась в его тёмную кожу, что она до сих пор имела синеватый оттенок.

Горбунов же был до войны забайкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядрёными, свежекелотыми берёзовыми дровами. И вообще весь он был какой-то белый, берёзовый.

Они оба сидели на пахучих еловых ветках в стёганках, накинутых на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает крошонку.

Иногда, заметив, что мальчик смущён своей неприличной прожорливостью, общительный и разговорчивый Горбунов доброжелательно замечал:

— Ты, пастушок, ничего. Не смущайся. Ешь вволю. А не хватит, мы тебе ещё подбросим. У нас насчёт харчей крепко поставлено.

Ваня ел, облизывал ложку, клал в рот большие куски мягкого солдатского хлеба с кисленькой каштановой корочкой, и ему казалось, что он уже давно живёт в палатке у этих добрых великанов. Даже как-то не верилось, что ещё совсем недавно — вчера — он пробирался по страшному, холодному лесу один во всём мире, ночью, голодный, больной, затравленный, как волчонок, не видя впереди ничего, кроме гибели.

Ему не верилось, что позади были три года нищеты, унижения, постоянного гнетущего страха, ужасной душевной подавленности и пустоты.

Впервые за эти три года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. В палатке было прекрасно. Хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку сквозь жёлтое полотно проникал ровный, весёлый свет, похожий на солнечный.

Правда, благодаря присутствию великанов в палатке было тесновато, но зато как всё было аккуратно, разумно разложено и развешано.

Каждая вещь помещалась на своём месте. Хорошо вычищенные и смазанные салом автоматы висели на жёлтых палочках, изнутри подпиравших палатку. Шинели и плащ-палатки, сложенные ровно, без единой складки, лежали на свежих еловых и можжевёловых ветках. Противогазы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми суровыми утиральниками. При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой. На фанере в большом порядке

помещались кружки, сделанные из консервных банок, целлулоидные мыльницы, тюбики зубной пасты и зубные щётки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритья, и висело маленькое круглое зеркальце. Были даже две сапожные щётки, воткнутые друг в друга щетиной, и возле них коробочка ваксы. Конечно, имелся там же фонарь «летучая мышь».

Снаружи палатка была аккуратно окопана ровиком, чтобы не натекала дождевая вода. Все колышки были целы и крепко вбиты в землю. Все полотнища туго, равномерно натянуты. Всё было точно, как полагается по инструкции.

Недаром же разведчики славились на всю батарею своей хозяйственностью. Всегда у них был изрядный неприкосновенный запас сахару, сухарей, сала. В любой момент могла найтись иголка, нитка, пуговица или добрая заварка чаю. О табачке нечего и говорить. Курево имелось в большом количестве и самых разнообразных сортов: и простая фабричная махорка, и пензенский самосад, и лёгкий сухумский табачок, и папиросы «Путина», и даже маленькие трофейные сигары, которые разведчики не уважали и курили в самых крайних случаях, и то с отвращением.

Но не только этим славились разведчики на всю батарею.

В первую голову славились они боевыми делами, известными далеко за пределами своей части. Никто не мог сравниться с ними в дерзости и мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали такие сведения, что иной раз даже в штабе дивизии руками разводили. А на-

чальник второго отдела иначе их и не называл, как «эти профессора капитана Енакиева».

Одним словом, воевали они героически.

Зато и отдыхать после своей тяжёлой и опасной работы привыкли толково.

Было их всего шесть человек, не считая сержанта Егорова. Ходили они в разведку большей частью парами через два дня на третий. Один день парой назначались в наряд, а один день парой отдыхали. Что же касается сержанта Егорова, то, когда он отдыхает, никто не знал.

Нынче отдыхали Горбунов и Биденко, закадычные дружки и постоянные напарники. И хотя с утра шёл бой, воздух в лесу ходил ходуном, тряслась земля и ежеминутно по верхушкам деревьев мело низким, оглушающим шумом штурмовиков, идущих на работу или с работы, оба разведчика безмятежно наслаждались вполне заслуженным отдыхом в обществе Вани, которого они уже успели полюбить и даже дать ему прозвище «пастушок».

Действительно, в своих коричневых домотканых портках, крашенных луковичной шелухой, в рваной кацавейке, с торбой через плечо, босой, простоволосый мальчик как нельзя больше походил на пастушонка, каким его изображали в старых букварях. Даже лицо его — тёмное, сухощавое, с красивым прямым носиком и большими глазами под шапкой волос, напоминавших соломенную крышу старенькой избушки, — было точь-в-точь как у деревенского пастушка.

Опустошив котелок, Ваня насухо вытер его коркой. Этой же коркой он обтёр ложку, корку съел, встал, степенно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы:

— Премного благодарны. Много вами доволен.

— Может, ещё хочешь?

— Нет, сыт.

— А то мы тебе ещё один котелок можем положить, — сказал Горбунов, подмигивая не без хвастовства. — Для нас это ничего не составляет. А, пастушок?

— В меня уже не лезет, — застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнули из-под ресниц быстрый, озорной взгляд.

— Не хочешь — как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило: мы никого насильно не заставляем, — сказал Биденко, известный своей справедливостью.

Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал:

— Ну, Ваня, так как же тебе показался наш харч?

— Хороший харч, — сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с газеты «Суворовский натиск», разостланной вместо скатерти, хлебные крошки.

— Верно, хороший? — оживился Горбунов. — Ты, брат, такого харча ни у кого в дивизии не найдёшь. Знаменитый харч. Ты, брат, главное дело, за нас держись, за разведчиков. С нами никогда не пропадёшь. Будешь за нас держаться?

— Буду, — весело сказал мальчик.

— Правильно, и не пропадёшь. Мы тебя в баньке отмоем. Патлы тебе острижём. Обмундирование какое-нибудь справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.

— А в разведку меня, дяденька, будете брать?

— И в разведку тебя будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика.

— Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу, — с радостной готовностью сказал Ваня. — Я здесь вокруг каждый кустик знаю.

— Это и дорого.

— А из автомата палить меня научите?

— Отчего же. Придёт время — научим.

— Мне бы, дяденька, только один разок стрелнуть, — сказал Ваня, жадно поглядев на автоматы, покачивающиеся на своих ремнях от беспрестанной пушечной пальбы.

— Стрельнешь. Не бойся. За этим не станет. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.

— Как это, дяденька?

— Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи капитану Енакиеву, капитан Енакиев велит дать в приказе о твоём зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия: вещевое, приварок, денежное. Понятно тебе?

— Понятно, дяденька.

— Вот как оно делается у нас, разведчиков... Погоди! Ты это куда собрался?

— Посуду помыть, дяденька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф убирать.

— Правильно приказывала, — сказал Горбунов строго. — То же самое и на военной службе.

— На военной службе швейцаров нету, — назидательно заметил справедливый Биденко.

— Однако ещё погоди мыть посуду, мы сейчас чай пить будем, — сказал Горбунов самодовольно. — Чай пить уважаешь?

— Уважаю, — сказал Ваня.

— Ну и правильно делаешь. У нас, у разведчиков, так положено: как покушаем, так сейчас же чай пить. Нельзя! — сказал Биденко. — Пьём, конечно, внакладку, — прибавил он равнодушно. — Мы с этим не считаемся.

Скоро в палатке появился большой медный чайник — предмет особенной гордости разведчиков, он же источник вечной зависти остальных батарейцев.

Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались.

Молчаливый Биденко развязал свой вещевой мешок и положил на «Суворовский натиск» громадную горсть рафинада. Не успел Ваня и глазом мигнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две большие грудки сахара, однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, добултыхнул третью грудку. Знай, мол, нас, разведчиков!

Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя как в необыкновенном, сказочном мире. Всё вокруг было сказочно. И эта палатка, как бы освещённая солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему загадочные «все виды довольствия» — вещевое, приварок, денежное, — и даже слова «свинная тушёнка», большими чёрными буквами напечатанные на кружке.

— Нравится? — спросил Горбунов, горделиво любуясь удовольствием, с которым мальчик тянул чай осторожно вытянутыми губами.

На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим, как огонь. Сердце было полно бурной радости оттого, что он останется жить у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, обмундировать, научить палить из автомата.

Все слова смешались в его голове. Он только благодарно закивал головой, высоко поднял брови домиком и выкатил глаза, выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности.

— Ребёнок ведь, — жалостно и тонко вздохнул Биденко, скручивая своими громадными, грубыми, как будто закопчёнными пальцами хорошенькую козью ножку и осторожно насыпая в неё из кисета пензенский самосад.

Тем временем звуки боя уже несколько раз меняли свой характер.

Сначала они слышались близко и шли равномерно, как волны. Потом они немного удалились, ослабли. Но сейчас же разбушевались с новой, утроенной силой. Среди них послышался новый, поспешный, как казалось, беспорядочный грохот авиабомб, которые всё сваливались и сваливались куда-то в кучу, в одно место, как бы молотя по вздрагивающей земле чудовищными кувалдами.

— Наши пикируют, — заметил вскользь Биденко, прислушиваясь среди разговора.

— Хорошо бьют, — одобрительно сказал Горбунов.

Это продолжалось довольно долго.

Потом наступила короткая передышка. Стало так тихо, что в лесу отчётливо послышался твёрдый звук дятла, как бы телеграфирующего по азбуке Морзе.

Пока продолжалась тишина, все молчали, прислушивались.

Потом издали донеслась винтовочная трескотня. Она всё усиливалась, крепчала. Её отдельные звуки стали сливаться. Наконец они слились. Сразу по всему фронту в десятках мест застучали пулемёты. И грозная машина боя вдруг застонала, засвистела, завывла, застучала, как ротационка, пущенная самым полным ходом.

И в этом беспощадном механическом шуме только очень опытное ухо могло уловить нежный, согласный хор человеческих голосов, где-то очень далеко певших «а-а-а...».

— Пошла царица полей в атаку, — сказал Горбунов. — Сейчас бог войны будет ей подпевать.

И как бы в подтверждение его слов, опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек самых различных калибров.

Биденко долго, внимательно слушал, повернув ухо в сторону боя.

— А нашей батарее не слышать, — сказал он наконец.

— Да, молчит.

— Небось наш капитан выжидает.

— Это как водится. Зато потом как ахнет...

Ваня переводил синие испуганные глаза с одного великана на другого, стараясь по выражению их лиц понять, хорошо ли для нас то, что делается, или плохо. Но понять не мог. А спросить не решался.

— Дяденька, — наконец сказал он, обращаясь к Горбунову, который казался ему добрее, — кто кого побеждает: мы немцев или немец нас?

Горбунов засмеялся и слегка хлопнул мальчика по загривку:

— Эх ты!

Биденко же серьёзно сказал:

— Ты бы, Чалдон, верно, сбегал бы к радистам на рацию, узнал бы, что там слышно.

Но в это время раздались торопливые шаги человека, споткнувшегося о колышек, и в палатку, нагнувшись, вошёл сержант Егоров.

— Горбунов!

— Я.

— Собирайся. Только что в пехотной цепи Кузьминского убило. Заступишь на его место.

— Нашего Кузьминского?

— Да, очередь из автомата. Одиннадцать пуль. Побыстрее.

— Есть!

Пока Горбунов, согнувшись, торопливо надевал шинель и набрасывал через голову снаряжение, сержант Егоров и ефрейтор Биденко молча смотрели на то место, где раньше помещался убитый сейчас разведчик Кузьминский.

Место это ничем не отличалось от других мест. Оно было так же аккуратно — без единой морщинки — застлано зелёной плащ-палаткой, так же в головах стоял вещевого мешок, покрытый суровым утиральником; только на утиральнике лежали два треугольных письма и номер разноцветного журнала «Красноармеец», принесённые полевым почтальоном уже в отсутствие Кузьминского.

Ваня видел Кузьминского только один раз, на рассвете. Кузьминский торопился на смену. Так же, как теперь Горбунов, Кузьминский, согнувшись, надевал через голову снаряжение и выправлял складки шинели из-под револьверной кобуры с большим кольцом медного шомпола.

От шинели Кузьминского грубо и вкусно пахло солдатскими щами. Но самого Кузьминского Ваня рассмотреть не успел, так как Кузьминский сейчас же ушёл. Он ушёл, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернётся. Теперь все знали, что он уже никогда не вернётся, и молчаливо смотрели на его освободившееся место. В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно.

Ваня осторожно протянул руку и пощупал свежий, липкий номер «Красноармейца». Только теперь сержант Егоров заметил Ваню; мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приготовился улыбнуться. Но сержант Егоров строго взглянул на него, и Ваня почувствовал, что случилось что-то неладное.

— Ты ещё здесь? — сказал Егоров.

— Здесь, — виновато прошептал мальчик, хотя не чувствовал за собой никакой вины.

— Придётся его отправить, — сказал сержант Егоров, нахмурясь точно так, как хмурился капитан Енакиев. — Биденко!

— Я!

— Собирайся.

— Куда?

— Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться. Не положено.

— На тебе! — сказал Биденко с нескрываемым огорчением.

— Капитан Енакиев распорядился.

— А жалко. Такой шустрый мальчик.

— Жалко не жалко, а не положено.

Сержант Егоров ещё больше нахмурился. Ему и самому было жаль расставаться с мальчиком. Про себя он ещё ночью решил оставить Ваню при себе связным и с течением времени сделать из него хорошего разведчика.

Но приказ командира не подлежал обсуждению. Капитан Енакиев лучше знает. Сказано — исполняй.

— Не положено, — ещё раз сказал Егоров, властным и резким тоном подчёркивая, что вопрос решён окончательно. — Собирайся, Биденко.

— Слушаюсь.

— Ну, стало быть, так и так, — сказал Горбунов, выправляя складки шинели из-под обмявшейся, потёртой до глянца кобуры нагана. — Не тужи, пастушок. Раз капитан Енакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. По крайней мере, хоть на машине прокатись. Не так ли? Прощай, брат.

И с этими словами Горбунов быстро, но без суеты вышел из палатки.

Ваня стоял маленький, огорчённый, растерянный. Покусывая губы, обмётанные лихорадкой, он смотрел то на одевавшегося Биденко, то на сержанта Егорова, который сидел на койке убитого Кузьминского с полузакрытыми глазами, бросив руки между колен, и, пользуясь свободной минутой, дремал.

Оба они прекрасно понимали, что творится в душе мальчика. Только что, какие-нибудь две минуты назад, всё было так хорошо, так прекрасно, и вдруг всё сделалось так плохо.

Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь начиналась для Вани! Дружить с храбрыми,

великодушными разведчиками; вместе с ними обе-
дать и пить чай внакладку, вместе с ними ходить
в разведку, париться в бане, палить из автомата;
спать с ними в одной палатке; получить обмунди-
рование — сапожки, гимнастёрку с погонами и пу-
шечками на погонах, шинель... может быть, даже
компас и револьвер-наган с патронами...

Три года жил Ваня, как бродячая собака, без
дома, без семьи. Он боялся людей и всё время ис-
пытывал голод и постоянный ужас. Наконец он на-
шёл добрых, хороших людей, которые его спасли,
обогрели, накормили, полюбили. И в этот самый
миг, когда, казалось, всё стало так замечательно,
когда он наконец попал в родную семью — трах! —
и всего этого нет. Всё это рассеялось, как туман.

— Дяденька, — сказал он, глотая слёзы и осто-
рожно тронув Биденко за шинель, — а дяденька!
Слушайте, не везите меня. Не надо.

— Приказано.

— Дяденька Егоров... товарищ сержант! Не
велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду
жить, — сказал мальчик с отчаянием. — Я вам все-
гда буду котелки чистить, воду носить...

— Не положено, не положено, — устало сказал
Егоров. — Ну, что же ты, Биденко! Готов?

— Готов.

— Так бери мальчика и отправляйся. Сейчас
как раз с полкового обменного пункта пятитонка
со стреляными гильзами уходит обратным рейсом.
Ещё захватите. А то наши на четыре километра
вперёд продвинулись. Закрепляются. Сейчас на-
чнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого
денем? С богом!

— Дяденька! — закричал Ваня.